

Кайсын Кулиев
(1917-1985)



Кайсын Шубаевич кулиев родился 1 ноября 1917 г. в старинном балкарском ауле Верхний Чегем в семье скотовода и охотника. Вырос в горах. Ребенком, потеряв отца, прожил трудное детство, очень рано начал работать.

В 1926 г. поступил в только что открывшуюся школу в Нижнем Чегеме, где впервые увидел книги, начал учить русский язык. В 10 лет написал первые свои стихи. После школы учился в техникуме в Нальчике, заполняя толстые тетради своими стихами. В семнадцать лет стал печататься в газетах.

В 1935 г. Кулиев приезжает в Москву и, хотя твердо решил стать поэтом, поступает в Театральный институт (ГИТИС), где изучались все области искусства и культуры,

чтобы стать хорошо образованным человеком. Одновременно слушал лекции в Литературном институте, продолжая писать стихи. В 1939 г., окончив институт,

возвращается в Нальчик, преподает в учительском институте литературу. В 1940 г. выходит первая книга стихотворений «Здравствуй, утро!».

В 1940 г. Кулиев был призван в ряды Красной Армии, служил в парашютно-десантной бригаде. Весной 1941 г. бригаду

направили в Латвию, где Кулиев и встретился с войной. После тяжелых боев под Орлом был ранен, попал в госпиталь. Писал

много стихов, которые печатали в газетах «Правда», «Красная звезда» и др. Позже воевал на Сталинградском фронте уже в

качестве военного корреспондента газеты «Сын Отечества». Участвовал в боях за освобождение южных городов, снова был

ранен, долго лечился в госпиталях. В годы войны написал несколько циклов стихов — «В час беды», «О тех, кто не

вернулся», «Перекоп».





Мой гений, мой ангел,
мой друг...

Элизат Кулиева

В 1945 г. Кулиев уехал в Киргизию, где работал в Союзе писателей (по рекомендации Н. Тихонова), писал стихи, но не мог публиковать их (балкарский народ был переселен Сталиным во время войны).

Занимался переводами. В мае 1956 г. Кулиев приехал в Москву, где Н. Тихонов способствовал изданию книги стихов «Горы»(1957); в этом же году в издательстве «Молодая гвардия» вышла вторая книга — «Хлеб и роза».

Из переписки

Борис Пастернак - К. Кулиеву 10 августа 1953

Дорогой мой Кайсын!

Спасибо за письмо. Я Вам отвечу коротко и второпях, потому что после инфаркта, который перенёс, незаконченные работы, которыми я занят, стали еще неотложнее и времени у меня еще меньше, чем прежде.

Не падайте духом, мужайтесь. Избавление придет обязательно, хотя я сам ждал, что оно наступит раньше. Но и для меня пока ничего не изменилось, и мое время не наступило еще, и я не знаю, доживу ли до него.

Я давно сказал Вам, что очень люблю Вас и верю в Вас. Эта вера не прошла у меня. Я всем про Вас рассказываю. После Есенина я только в одном Павле Васильеве ! находил такие, черты цельности, предназначения и отмеченности, как в Вас.

Я думаю, Вы давно уже пишете или могли бы писать по-русски так же хорошо, как на родном языке, или еще лучше. Подлинность, чистота и сила Ваших оригиналов доходила через все подстрочные воспроизведения и передачи, значит, она лежала не в привычной, повседневной прелести и документации народно-речевого оборота, а перерастала их и коренилась в образном содержании сказанного.

Вот что я думаю о национальных литературах. Для того чтобы явление в какой-нибудь из них возбуждало внимание и вызывало переводы, оно должно обладать новизной и важностью Омар Хайяма или Рабиндраната Тагора, в которых мировая поэзия нуждалась и без которых была бы не так полна...

Я Вам пишу так много на эту тему для того, чтобы сказать, что между природным фактом вдруг зарождающегося произведения на малораспространенном языке, (явление большой личности) и пятьюдесятью национальными литературами, в одно и то же время искусственно возникающими и искусственно поддерживаемыми из политических соображений, к тому ж еще, может быть, мнимых и ошибочных, огромное расстояние. Первое - самородное явление жизни, которое в сложной своей судьбе рано или поздно должно найти свое живое место среди всего остального живого в той или другой форме. Второе - насильтвенное порождение, вначале легкомысленно беспочвенное и беспредметное, а потом трагически претерпевающее жестокие превратности всего надуманного и неестественного. Доверяйтесь самому светлому и сильному в себе. Кайсын, самому дальнобойному, не боясь расстояний и трудностей, куда оно Вас занесет, и не считаясь с распространенными представлениями, какими бы проверенными и неопровергимыми они ни казались.

Месяца через два-три выйдет полный Фауст. Я Вам его пошлю, я хочу, чтобы Вы его весь прочитали. За исключением немногих страниц скучных, вялых и ненужных, но всегда промежуточных, то есть таких, за которыми вскоре всегда следует что-нибудь стоящее это произведение необыкновенное. Оно занимает совсем: особое место в поэзии не по силе достигнутого только, а по единственности и необычайности действующей в нем и заложенной в него лирической стихии. Ее огнем Гёте хотел озарить дальние и недоступные закоулки нашего существования иначе, чем это делает философия. Он заразил меня этой энергией, я увлекся передачей главным образом этой, действующей в трагедии силы. Это ново и в моей деятельности и в нашей поэзии, этого прежние переводы Фауста не передавали.

Я много хотел Вам сказать сегодня, Кайсын, и мог сделать это только очень скомкано и, наверное, неудачно. Но повторить в другой раз я этого не смогу...

Ваш Б. Пастернак

Кайсын Кулиев-поэт небольшого народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Кайсын Кулиев говорит от лица своего народа. Он-поэт всего мира... Интересы всего человечества, очень широкие слои всего человечества нашли уста в этом поэте.

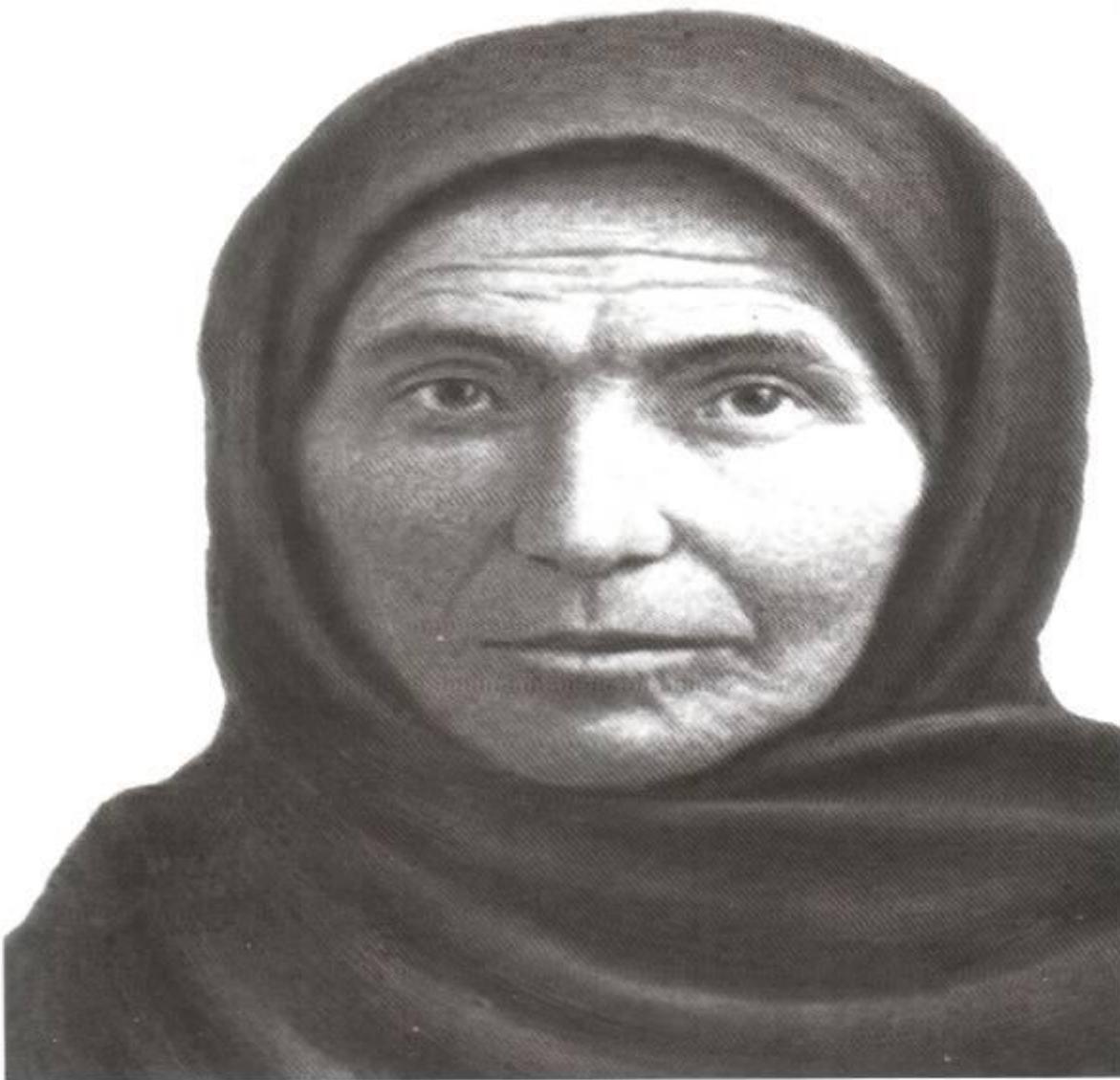


Кайсын Кулиев был личностью неординарной. Несмотря на превратности судьбы он был человеком цельным, не утратившим редкую в наши дни душевную щедрость, горячую душевную привязанность к людям.

Кулиев всегда достойно представлял свой народ как человек и достойно представлял Балкарию как поэт, Человек и поэт - это ведь одно и то же. Нет человека, нет и поэта, в чем мы не раз убеждались на примерах имен, еще недавно шумно известных, а теперь мало что значащих.

Кулиев был таким, каким его задумал балкарский народ. Народные представления о добрых людях всюду на земле одни и те же. Только, может быть, суровая природа Балкарии, нелегкая жизнь в горах требовали от людей большего мужества и большей готовности помогать друг другу.

Мать Кайсына Кулиева



Керим Отаров, Кязим Мечиев, Кайсын Кулиев



1 - пер. Снежный Купол;
2 - пер. Кайсына Кулиева;
3 - пер. Заповедный.



г. Тихтенген

г. Чаттау

р-н пер. Снежный Купол

пер. Кайсына Кулиева

пер. Заповедный

Дом Культуры им.Кайсына Кулиева



Дом Культуры им.Кайсына Кулиева



...В поэзии самого Кайсына отчетливо слышны голоса многих разных, своих и иноязычных, поэтов, что не мешает ему оставаться самим собой; Кайсын Кулиев никогда не стремился к тому, чтобы, как принято говорить в обиходе, приобщиться к культурному наследию. Он иронизировал над благоприобретённой эрудицией ради эрудиции, считал это формой духовного потребительства, иждивенчества. Не овладеть, но — стать саторцом прекрасного! Нерукотворного! То есть выстрадать его, пережить в своём сердце. И он был необычайно счастлив, когда имел святой повод признаться в любви к искусству. „О безымянные поэты моей древней земли, простые и великие! Я, знающий сегодня Данте и Шекспира, Пушкина и Мицкевича, удивлённый и восхищённый, склоняю голову перед силой вашего таланта! Вы слагали свои песни, вися над пропастью, идя за деревянным плугом или ночью проезжая верхом через тесное ущелье, откуда едва виден синий клочок неба с крупными звёздами. С тех пор прошли века, окутанные туманами, как горы в пасмурную ночь, и освещённые грозой. Но порывы вашей души, её мужество и доброта дошли и до меня, и я как бы коснулся их рукой, словно стали кинжала старинной работы, до сих пор не потерявшей остроты и блеска. Вы ещё раз убедили меня в том, что прекрасно хорошо сделанное дело, какое чудо — талант! Милые и неподкупные кудесники, вы высоко несли знамя души своего народа, ни разу не уронив его, и оно поныне развевается над нами“. Из этого он делал справедливый вывод, что каждый народ, как и природа, заботится о своем бессмертии. В этом Кайсын видел главный смысл поэзии. В XX столетии же значение поэта, но его мнению, расширилось до общечеловеческих горизонтов, ибо ответ приходится держать за судьбу всего человечества. ... Это хорошо, на мой взгляд, выразил А.Тарковский, делясь впечатлением о поэзии К.Кулиева: „...я стал искать в ней больше то, что называется местным колоритом. Я искал то, с чем мы сталкиваемся сплошь и рядом, когда имеем дело с поэзией малых народов, то, что является местным, ограниченным, что мы... принимаем за местный колорит. Этого я не нашёл. Потому что стихи Кайсына Кулиева — это настоящая поэзия. Кайсын Кулиев — поэт небольшого народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Кайсын Кулиев говорит от лица своего народа. Он — поэт всего мира... Интересы всего человечества, очень широкие слои всего человечества нашли уста в этом поэте“. ...Кайсын всем существом неистово, почти фантастически, но отнюдь не суеверно был убежден, что настоящий поэт не умирает „весь“ (кстати, так поздний Пушкин поправил себя, раннего). Как-то Кайсын заметил, что любить поэта — значит быть готовым отдать жизнь за него. И, помолчав, добавил: „Читать поэта-друга, как думал Пушкин, — величайшая радость общения, возвращение, пусть на время, жизни тому, кого любишь“. Вообще он верил, мне кажется, что жизнь не уходит, а приходит к человеку, которому не жаль поделиться с людьми своей жизнью. Вот почему, я думаю, в неприятии, в не смиряющемся до конца чувстве утраты близкого человека заключен, возможно, какой-то извечный закон сопротивления и самосохранения бытия, живой памяти, спасающей нас от безнадежного отчаяния, из какого мы не нашли бы исхода, согласись, что, увы, тут уж ничего не поделаешь и не стоит бесполезно надрывать сердце. Сам Кайсын не признавал подобных, неотразимых, казалось бы, доводов обыденного, робкого рассудка, хотя мало кто так остро переживал и скорбел при вести о чьей-то кончине. Он не искал уверток, как иные, кто легко способен заслониться от беспощадной реальности красивой изящной ложью. И говорил об этом так, будто заранее заказывал себе все пути к любому отступлению:

Я не скажу, что малодушней всех,
Но говорить, что уходить не больно,-
Великий грех, особенно для тех,
Кто приобщен к пророчествам невольно...
А лгать поэту — это осе равно,
Что предавать друзей забвенью смерти.
Каким бы горьким ни было оно,
Лишь слово правды — о высшем милосердье...



Сам Кайсын, как раненый камень- неизменный символ его поэзии- мог сказать о себе: «Я всё выдержал». В этом »всё«- суровая биография времени, народа и человека, через чьё сердце прошли жгучие токи великих и трагических событий истории; но не испепели его, а закалили, пробудили в нём ответное мужество и достоинство- чувства, не испытай которые, человек не вправе считать себя человеком, гражданином «грозного века».

Судьба, склоняюсь низко пред тобой,
Благодарю, что в пору лихолетий
В огне, под снегом или под водой
Мой смертный час нигде меня не встретил.
Я мог и за решетчатым окном,
Где моего никто б не слышал зова,
Окончить жизнь и в мертвый глинозем
Лечь, не увидев края дорогого.
...Спасибо, что за все мои грехи
Меня ты не лишила дара слова,
Что ветром разнесенные стихи
Ты помогла собрать и вспомнить снова.

Памятник и могила Кайсына Кулиева в Доме Музее



«Скольким я обязан безупречно искренней, чарующей русской поэзии», — воскликнул Кулиев. Образование поэт получил перед войной, обучаясь в Гиттисе и одновременно посещая занятия в Литературном институте имени Горького. Всегда с любовью отзывался о годах, проведенных в Москве, как о периоде накопления интеллектуального капитала. В годы Великой Отечественной войны Кулиев стал военным корреспондентом, его очерки и стихи передавались по радио в сводках Совинформбюро на 14 языках Европы. В боях был ранен, но вернулся на фронт, несмотря на демобилизацию, которую устроил ему Александр Фадеев. Кулиева представили к присуждению Сталинской премии, но этому помешала депортация балкарцев в марте 1944 г.

После войны поэт разделил участь своего народа, добровольно переехав в Среднюю Азию, где публиковался под псевдонимом «К.Чегемли».

«Поэзия рождена из света и добра», — писал поэт. Такими были и его стихи: «Мир и радость, вам, живущие,\\\ Не от ваших ли забот \\\ Жизнь идет, земля цветет, \\\ Существует в мире сущее». Но годы, проведенные в Киргизии, он не забывал.

«Я счастлив тем, — писал поэт, — что в тяжелых условиях не махнул рукой на жизнь, не разуверился в ней. Мне оставались дорогими снежные вершины, и примятая трава, у дороги, поэзия Пушкина и музыка Бетховена. Я никогда не забывал о том, что не зря Прометей похитил огонь для людей, а в том, что порой на земле горят дома, титан не виноват. Как хорошо, что никогда я не проклинал саму жизнь и не считал ее никчемной. Это один из центральных моментов всего мной написанного».

Кайсын Кулиев был дружен со многими современниками.

«Кулиев всегда достойно представлял свой народ как человек и достойно представлял Балкарию как поэт», — вспоминал Левон Мкртчян.

«Мой дорогой, пока с тобой мы живы, // все будет хорошо у нас с тобой», — эти строки посвятил Кайсыну Булат Окуджава в 1965 году.

Станислав Рассадин отмечал, что в творчестве Кайсына не было заискивания перед читателем, работ «на вынос». Он не спекулировал на национальной экзотике, с равным почтением относясь как к земляку, так и к русскому читателю. Его стихи стали широко известны советскому читателю благодаря великолепным переводам Наума Гребнева, Наума Коржавина, Семена Липкина и ряда других литераторов.

Кайсын Кулиев написал много поэтических и прозаических произведений. Его книги печатались на языках народов СССР, переводились на японский, хинди и другие иностранные языки. Стихи поэта любила цитировать Индира Ганди. Особенно ей нравились вот эти строчки из стихотворения «Где-то стонет женщина вдали...»: «Первой пулей на войне любой // Поражает сердце материнское.// Кто б ни выиграл последний бой, // Но страдает сердце материнское».

Художественным итогом деятельности Кайсына Кулиева стала книга «Человек. Птица. Дерево»(1985), за которую он получил посмертно Ленинскую премию в 1990 г. Поэту присуждались Государственные премии РСФСР и СССР, он был кавалером ордена Ленина, который был высшей наградой в советское время, имел ряд орденов и медалей.



Из воспоминаний Чингиза Айтматова

Трудно было начать эти заметки - ещё не умею думать о нём в прошлом времени. Кажется, вчера лишь, возвращаясь поздним вечером с юбилея, посвящённого памяти Тициана Табидзе, мы бродили по Тбилиси под вековечными платанами в окружении смутно маячивших очертаний гор, и луна плыла над миром. В гостиницу не хотелось. Как бы предчувствуя, что не много нам выпадет таких вечеров, Кайсын упивался стихами, завораживая и меня. Память его поистине была феноменальной. В его сердце жили Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин, Низами, Физули, Пастернак, Твардовский, Верхарн... Он знал поэтов, как своих родных братьев. Любил и гордился ими. А сколько великих композиторов, художников, философов озаряли его жизни! Но общение с ними было заповедным. Он готовился к нему. Должен явиться особый час, когда встреча могла бы состояться. И встреча случалась. Как, например, эта:

Снег идёт,
Как он шёл при моём отце,
Снег идёт,
Как он шёл для отца в Чегеме.
Снег идёт,
И, глазами следя снегопад,
Наконец-точитываюсь я пристально в Лорку.
Снег идёт,
Над орешиной и алычой,
Как в тот день,
Когда шёл я из леса домой
И с чинаровым хворостом ослик за мной.
Снег идёт,
Снег идёт,
И, следя снегопад,
Наконец-то я вслушаюсь зорко в Шопена.
Снег идет
Над орешиной и алычой,
Снег идёт,
Снег идёт,
Снег идёт,
Белый-белый!..

Чингиз Айтматов и Кайсын Кулиев



Памятник Кайсына Кулиева в г.Нальчике



Пусть вовек не гаснет в доме нашем
Простой очаг, что мы зажгли теперь,
И пусть беда, чей лик знаком и страшен,
Не отопрёт вовеки нашу дверь.

И пусть, коль будет радость мчаться к людям,
Облавы путь не преграждают ей.

Пусть для врагов мы твёрже стали будем
И мягче всех мы будем для друзей.

Пусть мы подружим, как вода с мукою,
Когда хозяйки делают чурек,

Пусть трусость будет нам всегда чужою,
А с мужеством сроднимся мы навек.

И пусть хлеба настолько густо встанут,
Что и змея не проползёт сквозь них,

Пусть наши изреченья люди станут
Века хранить в пословицах своих.

И самой крупной трудностью народа
Пусть будет радостный приём гостей.

Как наши горы, вечно пусть свобода
Стоит неколебимей крепостей!



Пока Кайсын Кулиев воевал, в 1944 году по приказу Сталина была осуществлена операция по депортации балкарцев в Среднюю Азию.

Рано утром 8 марта 1944 г. всему балкарскому народу, старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться в дорогу. Операция по выселению балкарцев из родных домов длилась всего два часа. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37 тыс. 713 балкарцев. Выселение происходило в то время, когда каждый четвёртый балкарец находился в рядах воюющей Красной Армии. Каждый второй из них погиб в боевых действиях в составе Красной Армии. В местах ссылки жизнь регламентировалась жесткими правилами и инструкциями НКГБ СССР — МГБ СССР.

После демобилизации, благодаря хлопотам Бориса Пастернака, Кулиеву было выдано разрешение на проживание в Москве. Однако он предпочел разделить участь балкарцев и поехал в место ссылки балкарцев — в Киргизию.

В 1956 году Кайсын Кулиев вернулся в Кабардино-Балкарию.

В разное время Кайсын Кулиев занимал следующие должности: был членом Правления Союза писателей СССР, первым секретарем Правления Союза писателей КБАССР, РСФСР.

Награды и звания. Кайсын Кулиев был награждён медалями Отечественной войны I и II степени, орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами I и II степени. Ему была присвоена Государственная премия РСФСР за книгу «Раненый камень» (1966); Народный поэт Кабардино-Балкарской Республики (1967); Государственная премия СССР за «Книгу земли» (1974); Ленинская премия (1990, посмертно) за книгу «Человек. Птица. Дерево» (1985).

Человек, Дерево, Птица

Видно, никогда не разлучиться

Человеку, дереву и птице.

Вместе полюбуются рассветом

И закатным предвечерним светом.

Вместе встретят горестную зиму

С близкой её невыразимой.

И к весне, улыбчивой, зелёной,

Вместе повернутся изумлённо.

Нет, не суждено им разлучиться-

Человеку, дереву и птице.

...Кайсын естественно сочетал в себе землепашца и рыцаря.

Он был человеком высоких нравственных принципов,

правил, от которых не отступал никогда. Ему органически

был чужд конформизм. Для него не было и не могло

найтись причины, побудившей бы его к компромиссу, к

сделке с совестью. Нечего говорить, что это значит в иные времена.

Быть со своим народом в радости и горе - в этом весь Кайсын. Честь. Она проявлялась и в гордости, с которой он нес, как знамя, звание Человека, всегда и везде помнящего, откуда он родом. Горец, Кайсын говорил: "Выше нас только небо и солнце". Но в этих словах и в том, как они звучали в его устах, не было ни малейшего намека на кичливость. Ведь это же относится к любому человеку, чей дух окрылен мечтой о свободе, о счастье для всех людей.

Человек чести не боится задавать себе самые острые и трудные вопросы. Он не передоверяет их "специалистам", кто не прочь бы взять на себя труд мыслить за него.

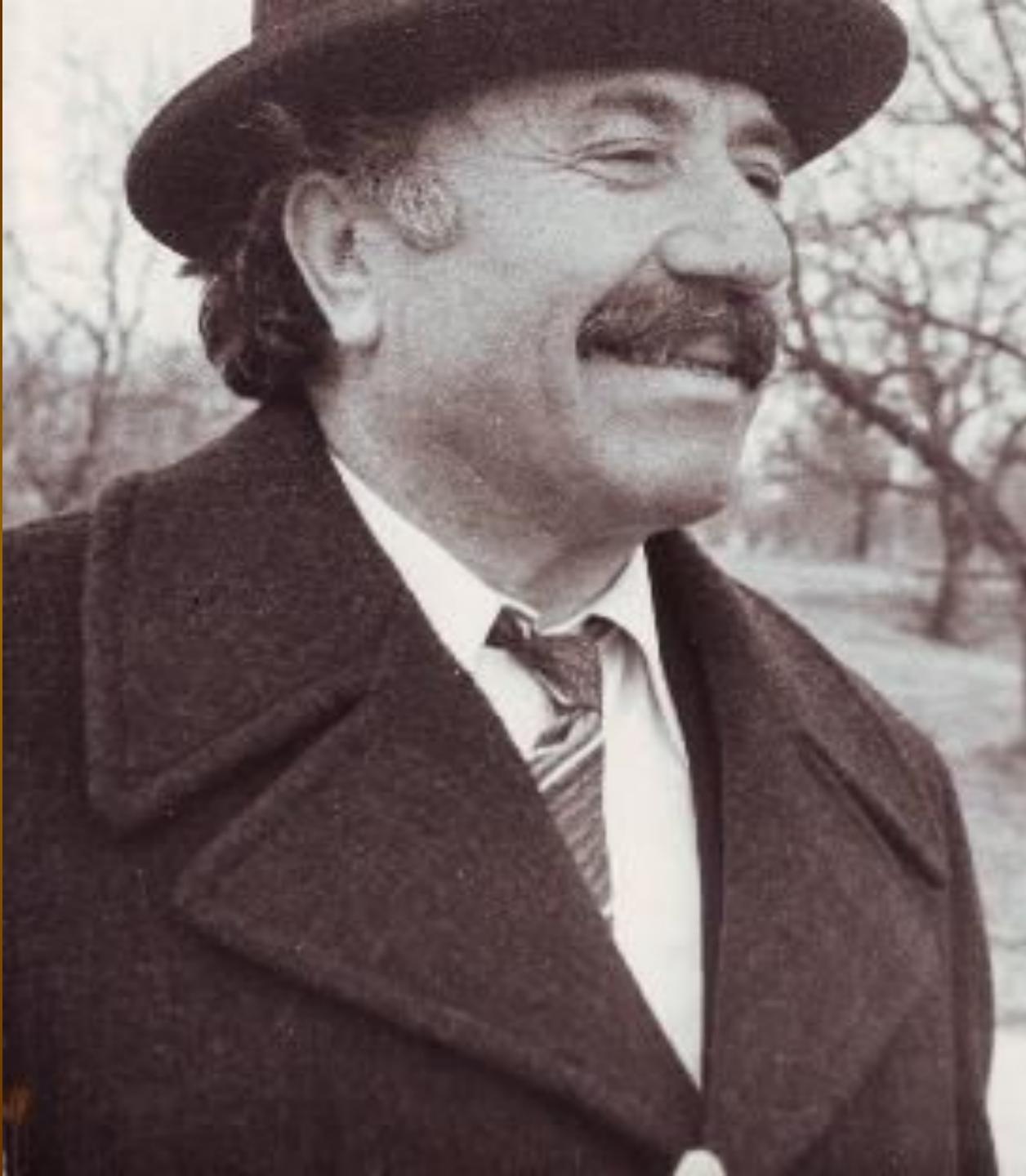
...Кайсын среди всех поэтов узнаем по особой интонации, по целомудренному, скажу, отношению к слову. Такое отношение предполагает расшифровку генетического кода, заложенного в первослове. В принципе акт речи, по Кулиеву, - величайшее событие. Благодаря слову человек точно выходит из тьмы, из хаоса. Ведь пока он молчит, он невидим. И также благодаря слову человек включается в историю, в природу, приникает к истокам бытия.

...Разве мы не ощущаем, как внешний вещный мир, предметам и явлениям которого поэт возвращает "старые", а в сущности, первоначальные имена и характеристики, словно напрягся в готовности к небывалым превращениям и, уже преобранный, рождается на глазах. Кажется, мгновение! - и он заговорит на древнем, но поражающе родном и волнующе понятном наречье. Нет, ещё не пора. Нельзя спугнуть тишину. Может, её тревожат и наши мысли? И все-таки в благодарность человеку она начинает приоткрываться. Вертится волшебное действие природы. ...Достоинство слова. В нём поэт утверждает свою честь, которая определяет его жизненное кредо. Кайсына невозможно представить автором "громогласных" заявлений, деклараций, что, по его убеждению, всегда является свидетельством вольной или невольной самовлюбленности и, хуже, цинизма, желания во что бы то ни стало привлечь внимание к собственной персоне, ради чего требуется перекричать жизнь, правду.

Достоинство человека. Это, по-моему, - ум, окрыленный свободой. Таким был Кайсын. Таким его и воспринимали.



"Кулиев - свободный поэт. Он, - говорила В. Звягинцева, - совершенно свободен от литературы, украшательства, загроможденное, не говоря уже о фальши. Я бы сказала, что он свободен, как ветер, если бы ветер мог быть мыслящим". Жизнь и поэзия Кайсына Кулиева нерасторжимы. Книга судьбы, какую он оставил нам, - "свиток верный", к которому, уверен, будут обращаться как "старые", так и новые друзья поэта, утешая его любовью. А сами, в свою очередь, будут находить в ней непреходящие уроки мужества, благородства и чести»



ОПЕРАЦИЯ «ДРУЖБА НАРОДОВ», или Добровольная ссылка поэта Кайсына Кулиева.

Когда в 1958 году я, окончив университет, за неимением лучшего поступил на службу в издательство, в отдел писем, то с первых дней познакомился-подружился с молодым грузином, носившим шевелюру, которая, как говорится, царапала потолок. С Булатом Окуджавой. Ведал он переводами «братских литератур» и взялся меня маленько подкармливать. Давал подстрочки — впрочем, не балуя, те, что поплоше, и один из них, насмешивший нас более прочих, помню дословно:

«Вырос кукурузный стебель, Молоком початка обухла...»

Нет, дальше забыл, зато врезалось в память, на какие же я пускался аллитерации-ассонансы, дабы вышло нечто стихоподобное:

«Молоком набух початок. Кукурузный стебель вырос. Как в бутылях непочатых, В ямах силой бродит силос...»

И смех и грех. Для меня-то кончилось смехом, крепко нагрешить не успел, догадавшись придушить эту свою карьеру в колыбели. Но ведь целая трудармия старалась — и перестала стараться лишь поневоле, с воплем отчаяния, когда рухнул СССР, — сформировав великолепную школу цинизма.

Цинизма, развращавшего обе стороны — поставщиков «национального» материала и его обработчиков. «Национал», как небрежно именовали его в столичных редакциях, привыкал к тому, что «старший брат» откупается от него, возмещая его второстепенность. Даёт послабления. В центральных издательствах существовали отделы «братских литератур», где сам принцип отбора издаваемых книг был основан отнюдь не на качестве рукописи, а на принадлежности автора к нацкадрам. Принцип, главное основание для публикации.

Сознавал ли «национал», что послабления замешены на презрении к его второсортности? Ежели был неглуп, то сознавал, и в этом случае притерпелось к данному положению и к пользе, извлекаемой из него, развращала в особенности. И в конце концов... Да вот случай, запомнившийся как курьезностью, так и неизбежностью возникновения подобных курьезов.

В редакции одного журнала я видел рукопись среднеазиатского полуклассика: роман, приуроченный к вторжению в Афганистан и уже вышедший на родном языке автора. То была беллетристованная биография Нурмухаммеда Тараки, лидера соцреволюции, — биография со всеми положенными подробностями, каковые обычно и делают одну судьбу отличной от прочих. Но поскольку к тому времени Тараки был убит Хафизуллой Амином, то в рукописи всюду, где было названо имя покойного, автор аккуратнейше зачеркнул: «Тараки... Тараки... Тараки... Тараки родился, учился, сделал, сказал...» — и вписал шариковой ручкой: «Амин... Амин... Амин...» Судьба одного откочевала к другому, что, впрочем, смешло, но не удивляло. Нам ли не помнить, как при Сталине полулюдям-полувождям вручались звания: «Первый Маршал», «Железный Нарком» и вместе с ними даже как бы личностные свойства? Это, однако, было не все. Покуда рукопись доставляли в Москву, советский спецназ и Амина отправил туда, где гурии утешали уничтоженного им Тараки. И в то время как в редакции толковали не без злорадства, до чего же теперь легко отделаться от номенклатурной рукописи, маститый графоман приспал вполне хладнокровную телеграмму. Мол, будьте добры, везде, где у меня «Амин... Амин... Амин...», впишите: «Бабрак Кармаль». В общем, надо быть Давидом Самойловым, чтобы, начав таким образом переводческую карьеру, стать в конце концов мастером перевода. И надо быть, скажем, Кайсыном Кулиевым, чтобы его положение переводимого на русский, то есть только таким образом обретающего желанную всесоюзную известность, не помешало ему сохранить достоинство. Поэтическое. Человеческое. Национальное. Итак, Кулиев. Большой поэт крохотной Балкарии, получивший — благодаря переводу — не просто известность, но славу. Да и государство — нельзя сказать, что обошло его, бывшего ссыльного, милостью: депутатство, госпремии, ордена... Хотя тут — оговорка. До высочайших наград его все-таки не возвысили. Почему? Он сам мне рассказывал, что, когда его выдвинули на Ленинскую премию, собрат по Кавказу и по перу ходил по большим кабинетам: — Кайсыну не надо давать. Он сидел. Так ли? Но достоверно известно, что и собратья из метрополии, то ли Кожевников, то ли Грибачев, то ли оба вместе, тоже высказывались на заседании Комитета по премиям: дескать, стихи неплохие, однако: «Они могли появиться и во времена Гомера!» Между прочим, наилучший из комплиментов. И — чистая правда: я, кажется, только однажды в кулиевских книгах повстречал слово «партия». В несильном стихотворении периода «оттепели», где он благодарил наследников Ильича за то, что вернули балкарцев из сталинской ссылки. Хотя... Не без горести и не без юмора вспоминаю ночной Кайсынов звонок в завершение дня, когда ему должны были присудить «гертуруду» — Золотую звезду Героя. Должны — в этом он был уверен, и меня уверяя в неизбежности благоприятного исхода. И вот... — Так они и не дали мне Героя... — Голос его был сильно хмельным и по-детски обиженным. Впрочем, тут же последовала самоирония: — Видно, я им плохо служу... Я не то чтобы разозлился, совсем нет, но наиграл по мгновенной душевной подсказке злую безжалостность. Роль расчета исполнила интуиция: — И очень хорошо! Я рад, что тебе не дали! — Почему?! Он так изумился моему бессердечию, что прорезвел. — Потому! Ты что ж... — Экспрессии ради я добавил толику ненормативной лексики, хотя вообще в разговорах с ним, чия его возраст и неприязнь к материщине, подобного избегал. — Хочешь быть в той литературе, где твой Пастернак, а награды получать, как Софонов? Пастернак, как Ахматова и Твардовский, был для него святым именем. — Не в этом дело, — ответил трезвый Кайсын. — Но ты же знаешь, каким счастьем это было бы для моего народа. Тут мне крыть было нечем: я знал. Хотя какой, в сущности, ужас, что самоутверждение целого народа зависело от побрякушки, которую навесят или не навесят на его замечательного поэта. Чего у Кулиева категорически не было, так это работы на вынос. В голову не приходило спекулировать на национальной экзотике, заискивать перед Большим Читателем, чьи представления о Кавказе и о Востоке не превышали уровня ильфо-петровского бухгалтера Берлаги с его «кунаками» и «абреками». Другой знаменитый кавказец представил читателю цикл «надписей»: «Надпись на камне», «Надпись на перстне», «...на кинжале», «...на бурке» — что ж, то был как будто традиционный восточный обычай, сомнения в подлинности не вызывающий. Но вспоминаю, как Кайсын заговорщически наклоняется к моему уху: — Слушай, может быть, ты мне скажешь: где на бурке можно сделать надпись? Сам он предупреждал: «Я не пою, а пишу на бумаге, / Мерю пальто городского сукна...», и экзотизмы вроде берлаговских «кунака», «тамады», «газырей», порою мелькающие в переводах его горских стихов, всякий раз оказывались от лукавого. От лукавого переводчика. «Я дарю вам на счастье, как верный кунак, / Белоснежную веточку алычи». «На сердце у меня, под газырями, / Шрам от любви остался не один». Так заманивал простофиль переводчик Козловский. У Кулиева, в конце концов с ним расставшегося, этой пошлости быть не могло. «Я дарю вам на счастье веточку алычи» — все. Только. И излюбленный образ его, «раненый камень», — настолько же горский, насколько общечеловеческий по способности страдать и кровоточить. Но, кровоточа и страдая, оставаться все-таки — камнем... Мало кто знает, что ссылка, выпавшая на долю балкарцев, для Кулиева вышла вроде бы добровольной. Влиятельные друзья в Москве выхлопотали лично Кайсыну, кажется в компании всего лишь ещё одного балкарца, право не покидать Кавказа. Роль сыграло не то, что он был уже известным поэтом, фронтовиком, инвалидом войны, — ни одна из этих сентиментальных подробностей не имела государственного значения. Извлекли на свет то, что одна из бабок Кайсына была этническая кабардинка — из народа, который Сталин, разделяя и властвуя, с места почему-то не стронул. Кулиев не воспользовался льготой. Как он — скоро — рассказывал сам, вернулся, раненый, в 44-м из госпиталя, поднялся в родной аул Верхний Чегем, поплакал над остывшим родительским очагом и отправился за своими, в Киргизию. Вопрос: возносить ли ему за это хвалу? Можно. Но как-то стыдно. Он, весьма способный похвастать строкой, об этом говорил мало и редко. Обиды — о, их помнил! С яростью поминал Фадеева, кому средь возможных забот достало времени распорядиться судьбой ссыльного поэта. Когда кто-то из киргизских литературных начальников прибыл в Москву, Фадеев спросил: как там Кулиев? И едва тот с готовностью отрапортовал: не обижаем, дали работу по специальности, — московский генсек приказал: уволить. А что до выбора собственного... Был ли он? Ну кем стал бы Кулиев, во что бы превратился, прими ту милость? Не умоляя благородства порыва, но то был ещё и поступок умного человека. И, решившись на что-то вроде кощунства, не сказать ли даже о выигрыше? О личном интересе? Пуще того — о выгоде? Но кощунства здесь нет. «Дорогой Кайсын! — писал ему Пастернак. В 1948-м, из Москвы в Киргизию... — ...Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливы в любом положении, даже в горе.

...Прирождённый талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, никольное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и ошеломляющей стороны. Дарование учил чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает...» Вот оно! Подчеркнуто — здесь и далее — мною. «...Как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полуслучае. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно. В Вас есть эта народистость струны или натянутость тетивы, и это счастье». Письмо счастливого человека счастливому человеку — даром, что оба «в горе»: один — в ссылке, второй — в загоне, в опале, превращенных в привычное состояние. Письмо Кулиеву и себе, о себе. Ведь это о Пастернаке Виктор Шкловский писал в 1923 году: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим». Когда Кайсын Кулиев из московской больницы (где, не обольщаясь насчет диагноза, спокойно работал: писал прозу, стихи, перечитывал Ахматову) собрался в Балкарию — умирать, он звонил друзьям. Говорил им, что они значили в его судьбе, и прощался. Знаю, что позвонил Науму Гребневу, Липкину. Звонил ли мне? Не знаю и никогда не узнаю: я в ту пору находился в долгой отлучке. Ревниво надеюсь, что — да, звонил, и в то же время задним числом страшно вообразить: что и как я говорил бы ему, понимая, что это в последний раз. Как только он умер, возникла легенда: будто он, улетая, попросил пилота сделать круг над Эльбрусом, и пилот не отказался, нарушив ради него законы «Аэрофлота». Но Эльбрус был в облаках и с высоты неразличим.

Последние годы Кайсын Кулиев прожил в городе Чегеме в небольшом, по нынешним меркам, собственном доме. Здесь же он был и похоронен. Теперь на его могиле стоит памятник, а его дом, как уже говорилось, превращен в музей-усадьбу. Этот музей, в котором удалось побывать гостям, — живой. И это ощущение непрерывности жизни создают не только личные вещи поэта, которые все еще хранят тепло его рук. В доме была открыта персональная выставка сына поэта Азамата Кулиева — талантливого художника, который живет в Турции, но, подобно всем своим соплеменникам, покинувшим в разные годы пределы России, не прервал связи с родиной.

Касын Кулиев умер, оставив стихи: «Вы не плачьте над моей могилой, // А безмолвно посмотрите ввысь. // В небо над землею нашей милой, // Где с дымками облака слились...»

Не знаю, был ли Кулиев счастлив в горе, но есть в его стихах, написанных в черные дни народных бед, неистребимое чувство жизни. И чем труднее было ему, его народу, всем нам (Кулиев всегда мыслил и чувствовал широко), тем сильнее он любил жизнь и людей.







